

Вениамин
КАВЕРИН



Новое произведение одного из мастеров литературного цеха В. Каверина, названное автором «Письменный стол», состоит из воспоминаний, писем, эссе. Из этой мозаики складывается картина литературной жизни, современной автору; такой прием дает возможность легко смещать временные пласты. Сокращенный вариант новой книги публикуется в журнале «Октябрь», а сегодня «Литературная Россия» знакомит своих читателей с главами этой работы.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Откуда взялись у нас, уже не первый год работающих в литературе и ясно чувствующих грозное приближение войны — это было весной 1941 года, — откуда взялись эти подшучивания друг над другом, розыгрыши, веселые поездки в Крымские горы, дегустация старых вин в подвалах Массандры, игры и танцы по вечерам в прелестном многооконном, уютном виноградном Доме творчества в Ялте? Мы — это Паустовский, Твардовский, Габрилович, Роскин (автор книги «Антоша Чехонте»), Евгений Петров, Гайдар, Симонов. Дни, которые запомнились на всю жизнь не только потому, что превратились по временам в беспричинный праздник, но еще и потому, что они никогда больше не повторились и не могли повториться.

Однажды мы отправились в подвалы Массандры на дегустацию вин. Нас встретил высокий сухощавый старик в ермолке, по слухам, лучший дегустатор на всем Крымском побережье. В нашу честь была открыта бутылка двухсотлетнего хереса, который оказался никуда не годным. Мы выслушали длинную интересную лекцию, в течение которой главный дегустатор, отпив глоток вина, долго катал его во рту, приглашая нас почувствовать его тонкость и, как он выразился, «круглость». В подвалах было холодно, все замерзло, хотя были испробованы и старательно оценены нами двадцать шесть сортов вин. В конце лекции главный дегустатор спросил, есть ли вопросы, и жена одного из писателей, на которую, очевидно, эти вина произвели сильное впечатление, сказала заплавающим языком:

— Можно еще рюмочку?

Мы торопливо перевели вопрос на научные рельсы, и неловкость была заглажена.

По вечерам играли в телефон, танцевали, и Габрилович барабанил на рояле, а Роскин кричал моей жене: — Да здравствует Тынянова — Уланова вторая!

Мы с женой были в тот период единственными ленинградцами и, по-

видимому, чем-то отличались от наших друзей, потому что однажды поздним вечером, воспользовавшись балконом соседней комнаты Симонова, Петров, Роскин и Симонов проникли к нам и, встав на колени, в один голос сказали:

— Группа московских писателей просит вас научить, как жить.

...Многое запомнилось, но одна поездка не просто запомнилась, а врезалась в память. Мы всей компанией отправились на Орлиный Залет, может быть, один из самых высоких уступов в Крымских горах, на котором, по слухам, были орлиные гнезда. Но происхождение этого поэтического названия оказалось, как я впоследствии узнал, совсем другим: форма черных кражей и скал Орлиного Залета напоминает широко распростертые в воздухе крылья. Это сходство поддерживается плавным чередованием леса, лугов и обнаженных розоватых и белых скал. Рядом высится известковая светло-серая гора Сюрюк-Кая. Отделившись от массива глубокой седловиной, напоминающая гигантскую сахарную голову, она сползает в голубую Кокосскую долину. Заставить себя взглянуть с обрывистого края пяти-шестиметровой пропасти на окрестные дали может только очень мужественный человек. И, кажется, только Симонову, который был моложе нас всех, удалось совершить этот подвиг.

Добравшись мы до Орлиного Залета без труда, и вскоре веселый пикник как-то превратился в серьезный разговор о нашей литературе. Высота ли, красота ли этого действительно необыкновенного места, удивительный ли вид на море действовали на нас, или же Роскин (погибший в московском ополчении в начале войны), первый заговорил об орлиных залах в литературе. Это были, по его мнению, те произведения, которые достигали той неожиданной для самого автора высоты, о которой и не подозревал читатель. Собственная оценка была независима от любого чужого мнения. Я впервые услышал от него, что любимым рассказом Чехова был «Студент», что самой лучшей из своих пьес Островский считал, на мой взгляд, далеко не совершенную «Позднюю любовь». Свифт, умирая, просил почтить ему не «Гулливера», а «Сказку обчичи», и слушая ее в последний раз, воскликнул с восхищением: «Как писал!» Роскину возразили, спор затянулся, но метафора запомнилась на всю жизнь. И вот теперь я вспомнил о ней, мучаясь в поисках заглавия этой книги. Я хотел назвать ее «Орлиный Залет», но потом мне удалось назвать ее иначе. Я говорю «удалось», потому что книга сопротивляется неудачному заглавию. Борьба с автором начинается, когда написана последняя строка. Именно в эту минуту книга становится как бы живым существом, со своей судьбой, подчас необычайной. Она понимает, зачем она написана, она стремится к скромности и простоте, но остается в гени, безвестности она все-таки не хочет.

Название ничего не должно обещать, ведь читатель может подумать, что автор выполнил меньше, чем обещал. Мой учитель, академик В. Н. Перетц, говорил, что выдумать новый сюжет невозможно. Все они уже исчерпаны в мировой литературе. Не думаю, что он был прав, но, может

быть, размышляя о том, как назвать эту книгу, я оказался в кругу давно использованных названий. Что делать? Без конца перелистывая страницы рукописи, я понял в конце концов свою простую задачу: рассказать, как пишутся книги. Рассказать о том, что сопровождает работу, окружает ее, создает атмосферу взаимопонимания и взаимозависимости от друзей, советы которых помогают писать книгу и незаметно преодолевать трудности. Я понял, что это и незримая атмосфера внимания, возникающего при чтении писем читателей, высоко или не очень высоко оценивающих роман или повесть, это — поддерживающий интерес, который утраивает силы, это и ощущение, что твои книги занимают свое место в жизни многих и подчас помогают принять важное решение, — так, после одного убедительного читательского письма я понял, что нужно написать второй том романа «Два капитана». В первой редакции роман заканчивался кратким эпилогом.

Короче говоря, содержание моей книги — это то, что происходит рядом с основной работой. Пишется быстро, иногда даже начисто, со смутным сожалением неоконченного, брошенного в середине. Письма друзей, которые бережно хранятся всю жизнь. Письма читателей, конечно, только те, что связаны с моей работой. Размышления, которые приходят в голову на прогулках и которые повторяешь мысленно много раз, чтобы не забыть. Интервью, когда с неожиданной для себя легкостью отвечаешь на неожиданные или давно знакомые вопросы. Внезапный звонок из редакции с просьбой написать о Пастернаке, Шкловском, Шукшине: «Хоть несколько строк». Вдруг вспыхнувшая в часы бессонницы мысль, удачная догадка, которую коряво записываешь на первом попавшемся листе бумаги. Это отмеченная памятью фраза, где-то записанная, это необходимость перебрать свои и чужие рукописи, лежащие на столе, чтобы найти клочки бумаги и убедиться, что все записанное бледно или уже сказано другими.

Далеко не все укладывается в ежедневную узкую, знакомую только близким внутреннюю жизнь писателя, так сказать, его микромир. Но именно в образе этого микромира отчетливо отпечатывается время. Может быть, если бы я не был в молодости историком литературы, мне не пришла бы в голову мысль записать будущее по следам, записать похожее на тень отражение жизни. Но я был знаком с людьми, значение которых неоспоримо в истории русской культуры. Мои заметки о них, переписка между нами, случайные или условные встречи, в сущности, принадлежат не мне и не им. Может быть, я ошибаюсь, но они принадлежат истории русской культуры, которая волею или неволею создается этими людьми. И это не только знакомые писатели, артисты, художники, а подчас совсем незаметные люди. Незаметные, но косвенно связанные с моими книгами, многочисленными наблюдениями, неуверенными советами, как писать, а подчас — как жить.

Определить жанр такого сочинения трудно. Но вот один пример. Н. Эйхельман и В. Порудоминский издали «Болдинскую осень» — книгу, в которой письма великого поэта к друзьям и к невесте перемежаются «Ма-

ленькими трагедиями», критические статьи — главами из «Евгения Онегина», поэмы — сказками, стихи — объяснениями самого поэта. Я уже не говорю о том, в какой таинственной связи находится одно произведение с другим, написанным вслед за другим, но бесконечно далекое от него во всех отношениях. «Моцарт и Сальери» написан 26 октября, «История села Горюхина» — 1 ноября, а 2—4 ноября уже закончен «Каменный гость». Воображение автора шагает через пропасти, хронология приобретает почти мистический, самой судьбой предопределенный характер. Но меня «Болдинская осень» поразила и другим: составители и комментаторы книги как бы сдвинули завесу, и за ней открылось обыденное — ежедневные заботы художника, в которых опытный взгляд исследователя нашел отражение обыденной жизни. Вот эта обыденная жизнь, мало чем отличающаяся от жизни любого предстателя «интеллигентного» труда, и составляет содержание этой книги.

Стрелки часов, бесшумно (или почти бесшумно) обегаящие циферблат, в равной мере отсчитывают полет времени и для тех, кто пишет книги, и для тех, кто строит дома...

Эти встречи — случайные и неслучайные, — перемежающиеся с письмами и моими комментариями к ним, относятся к разному времени, но преимущественно к семидесятым — восьмидесятым годам.

Я не назвал эту книгу «Орлиный Залет» — пожалуй, читатель решил бы, что я считаю ее лучшей из своих книг. Это не так. Она мне кажется перекрестком, на котором соединились мои размышления о литературе с размышлениями моих старых и новых друзей.

Можно было бы привести и другие соображения, объясняющие, почему я назвал эту книгу «Письменный стол». Разумеется, я знал, что одно из своих произведений Марина Цветаева назвала «Стол». В блистательно точных, скупых строках она заставила нас с волнением взглянуть в то, о чем я пытался рассказать в своем затянутах предисловии.

Мой письменный верный стол!

Спасибо за то, что, ствол

Отдав мне, чтоб стать — столом,

Остался — живым стволом!

С листьями молодой игрой

Над бровью, с живой корой,

С слезами живой смолы,

С корнями до дна земли!

ФАДЕЕВ

У меня с Фадеевым были далекие отношения, хотя во время одной бригадной поездки по Армении и Грузии мы перешли на «ты», хотя он упрямо защищал мой роман «Два

капитана» от нападок. Тем большей неожиданностью было то, что как-то он позвонил мне по телефону и стал подробно, внимательно, как, впрочем, он всегда это делал, расспрашивать о моих делах и здоровье. Потом вдруг предложил поговорить. Это было в Переделкино. Мы встретились неподалеку от его дома, и начался этот запомнившийся мне разговор. Он начался, кажется, с вопроса о продлении прав на литературное наследство Булгакова. И Фадеев огорчился, что ему не удавалось довести дело до благополучного конца.

Я спросил его о здоровье, он засмеялся и ответил, что его ничто не берет. Вот только бессонница мучает.

Года за полтора перед этой встречей я был у него в больнице, и он рассказал о том, как, измученный бессонницей, скатывал в ком множество сновидений, проглатывал их, забывался коротким беспокойным сном и через два часа просыпался с туманом в голове и с опустошенным сердцем.

— Но именно тогда-то, — сказал он, — мне и удалось переломить себя, хотя это было чертовски трудно. Однажды я выбросил все сновидения и решил: сон или смерть. Конечно, в конце концов пришел сон. Правда, на третий сутки. А ведь какое это счастье — проспать подряд четыре часа! Ты ведь сам страдаешь бессонницей, ты меня понимаешь.

Разговор был легкий, даже веселый. И так же легко Фадеев коснулся того, о чем я не мог бы заговорить.

особенного не произошло и все обстоит превосходно.

Но за этим спокойствием мне почудилось знакомое отчаяние перед неудавшейся работой, которое не раз испытывал и я.

— Но что же случилось? Откуда вдруг такое решение? — И я стал доказывать ему, что было бы преступлением отказать от этого романа, для которого он так тщательно собирал материал.

— Да нет, понимаешь, там произошла такая история... Весь этот материал, который мне предложили, оказался совсем другим, чем я его принимал. В основе моего романа должен был лежать вопрос о прогрессе в промышленности, но во главе движения я поставил не тех людей, которым действительно были дороги интересы нашего народа.

Он замолчал, и хотя это было сказано бодрим голосом уверенного человека, доказывающего себе и другим, что все обстоит благополучно, в нем прозвучала горечь.

— Постой, но, ведь именно теперь-то тебе и нужно по-настоящему приняться за работу. Ты должен провести черту под всем, что уже написал, и продолжить роман, в котором все встанет на свое место.

Он почти не слушал меня. — Да, приблизительно то же советовал мне Твардовский. И Федин. Нет, ничего не выйдет.

Мы заговорили о другом, но я все же не мог успокоиться. Мне всю жизнь было жаль напрасной работы, может быть, потому, что работа мне

недалеко от кладбища, и Фадеев снова высоко захохотал, мгновенно превратившись в бодрого, прямого, с прямой шеей, знаменитого человека, уверенного в том, что всех касается его существование.

Потом я проводил его, и мы расстались, но я еще погулял немного. Я думал об этом человеке, одаренном необычайной силой, сказывавшейся во всем и, может быть, больше всего в той борьбе, которую он вел с самим собой...

ИЗ ДНЕВНИКА

Я всегда был уверен в том, что чтение — важная часть профессиональной жизни писателя. Писатель не превращается в читателя, когда бросает перо и принимается за чужую книгу: он ее читает, сравнивая, участвуя, отбирая. Я говорю об этом в своей книге «Вечерний день»: «Это не только мир литературного сознания, не менее важный, чем опыт реальной жизни. Это сопутствующее всей жизни писателя явление резонанса, без которого серьезно работать почти невозможно. Войдите в комнату, где стоит рояль с откинутой крышечкой, и хлопните в ладоши. Отзовется та струна, частота колебаний которой совпадает с колебаниями, возникшими в результате вашего движения. Так отзываются в опыте чтения те струны, которые совпадают с кругом ваших намерений и профессиональных интересов. Так образуется литературный вкус, и важно еще в юности позаботиться о его широте».

— Ты мог бы писать, как Олеша, — сказал мне Ю. Н. Тынянов после того, как мы с ним побывали на вечере Юрия Карловича.

Это было для меня мерилом, пока я не убедился, что не могу писать, как Олеша, но могу многому научиться у него. Писатель смотрит в чужую книгу, как в зеркало, и видит — или не видит — себя. В книге Олеша я всматривался долго, а в книге Булгакова — всю жизнь: пишу о нем, вдумываюсь, стараюсь понять.

Итак, чтение — важная сторона работы писателя. Мои заметки вызваны двумя недавно прочитанными новыми книгами.

Я не знаю, как работает И. Грекова, хотя ни одной ее книги, кажется, не пропустил. («На испытаниях» я считаю одной из лучших ее повестей, хотя критика отнеслась к ней совершенно иначе.)

Приходится ощупью, догадкой идти от обратного: от ее книг — к ее работе над книгами. И кое о чем, пожалуй, можно догадаться. Ведь ахматовское «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...» относится и к прозе. Мне кажется, что «Дамский мастер», например, схвачен с первого взгляда. Со мною это случилось: вахтер соседней дачи заглянул ко мне поболтать и оказался самым удачным героем моей длинной трилогии «Открытая книга». Я имею в виду отца моей героини. «Хозяйка гостиницы» напомнила мне женские исповеди, которые посыпались ко мне, когда Эренбург. Шостакович, я и другие попытались с помощью «Литературной газеты» внести поправку в закон о матерях-одиночках. Разумеется, все это догадки, основанные на собственной работе. Но более или менее достоверные, потому что «вторая профессия», разумно использованная, не мешает делу. И. Грекова, известный математик, автор книги «Теория вероятностей», не менее известна в нашей литературе. Линия всматривания, придумывания, отбора идет рядом с научными исследованиями. Экзаменуя студента, она, профессор, подчас думает: не может ли этот мальчик пригодиться для повести «Маленький Гарусов»? Возможно, что это не так или совсем не так. Но похоже.

«Вдовий парход» — может быть, не самая сильная ее повесть, но все-таки — какая изящная простота сюжета, какое искусство занимательности, какой отбор значительного из беспорядочного калейдоскопа жизни!

Судьба свела в коммунальной квартире пятерых одиноких женщин. Каждая из них не только выписана, но тщательно оттушевана, причем

стереоскопичность не отдаляет (как бывает, когда вы смотрите в стереоскоп), а как раз наоборот — приближает. В руке художника не кисть, а обыкновенный карандаш. Перед нами не холст, а рисунок. Но вспомним слова Микеланджело, который говорил, что «рисунок — исток и душа всех родов изобразительных искусств...». Я не случайно привел эту строку из «Записей разных лет» Л. О. Пастернака: читая повести И. Грековой, я вспоминаю работы Л. О. Пастернака — несравненного рисовальщика: портреты Толстого, Скрябина, Рильке, сцены семейной жизни. «...Мягко освещается скатерть на столе, и женские руки что-то выливают, наливают чай, перелистывают книги, выжут уютные домашние вещи. Эти женские руки дают какой-то ключ к искусству Пастернака...» — как отмечал Ю. Пименов в предисловии к «Записям разных лет».

Женской рукой написан и «Вдовий парход». С первой до последней страницы повесть проникнута женской отзывчивостью, чувством материнства, чувством одиночества, непохожим на мужское.

Все обитатели «коммуналки» несчастны, каждая по-своему, — одну бросил муж, другую — два, у третьей родился «внебрачный» ребенок. Вот этот ребенок, появившийся после случайной фронтальной встречи, и оказывается единственным мужчиной в квартире — на «вдовьем парходе».

Как бы ни относиться к Вадиму Грому — удался он или нет? — нельзя отрицать, что этот заставивший задуматься персонаж — новость в нашей прозе. С раннего детства дурные черты заметны в нем и стоически углублены беспорядочным воспитанием. Это характер бешеный, дикий, самолюбивый. «Все врут», — утверждает он. Это для него не случайная мысль. Это открытие, за которое он держится руками и ногами. Ведь если «все врут», он выше всех, потому что говорит (не может не говорить) правду. Он умен, но у него узкий ум, и он не понимает, что ложь — разноцветное, разностороннее понятие. Он не может и не хочет признать, что «лжи много, а правда одна». Сознание его с годами все больше обволакивается этой опасной идеей, немеет, грубеет. Но странное дело: этот неприятный, озлобленный парень, похожий на падающий с неба каменный дождь, написан так, что читатель почему-то не забывает о том, что этот дождь все-таки падает с неба. В нем клокочет ненависть, но чем-то он все-таки подкупает. Осторожно, как бы между прочим, И. Грекова оставляет на холсте чуть тронутые белые пятна. Исподволь готовится перелом. Еще в пионерлагере Вадим с любовью думает о матери: «Как светились на солнце ее полные, стройные руки». Кончая школу, он влюбляется в одноклассницу — и потрясен ее холодным бесстыдством. В одиночестве своей полной, никому не нужной, всеми отверженной правды он вдруг замечает природу — природу, которая не лжет. Все же союзники! Он все чаще вспоминает о матери, и когда она, тяжело заболев, лишается речи, — бросает все и кидается к ней. Вот когда раскрывается сила его незаурядной души, вся его затаянная любовь к человеку! Вот когда обратным светом озаряется минувшая жизнь — и, оказывается, не все переломано, перемолото. С трогательной отвагой, не щадя себя, Вадим ухаживает за смертельно больной матерью, не оставляя ее ни на минуту. Он пытается научить мать говорить, а когда это не удается, учит ее грамоте, как пятилетнего ребенка. Последние, самые значительные страницы заставляют читателя задуматься о том, что ведь, в сущности, Вадим «без вины виноват». Ему не посчастливилось встретить хоть одного человека, который убедительно доказал бы ему, что не «все врут», что иная ложь выше правды. Лишь после смерти матери он с горечью отчаяния, быть может, догадывается об этом...

Я пишу это «может быть», потому что И. Грекова, окончивая повесть, оставляет за собой чистый лист — Вадиму снится сон: «Ему приснились все его вины перед матерью... Он проснулся, и подушка его была мокра. С этой проплаканной горько-соленой подушки началась для него новая жизнь». Новая жизнь — новая повесть. Но написать ее будет, думается, нелегко!



А. СУРКОВ, А. ФАДЕЕВ, В. МАЯКОВСКИЙ, В. СТАВСКИЙ. На выставке В. В. Маяковского «20 лет работы». 1930 год.

— На этот раз меня продержали четыре месяца. В общем, это было даже хорошо, потому что я много работал. — И он захохотал знакомым высоким смехом, который был какой-то разный у него — то искренний и мальчишески простой, то прикрывающий затаенную мысль.

Потом как бы мельком он спросил, читал ли я главы его романа «Черная металлургия», напечатанные в «Огоньке». Я ответил, что читал и что, судя по тщательности психологических зарисовок, которые следуют непрерывно одна за другой, можно представить себе, что это должно быть многотомное произведение.

И вдруг (я не знаю, откуда взялось это ощущение) скользнуло что-то совсем другое.

— Ты знаешь, я ведь решил оставить эту книгу, — так спокойно, как будто это ничего не значило для него, сказал он. — Не то что решил, но вдруг получилось, понимаешь, что я не могу продолжать ее.

— Но ведь ты же был так увлечен, так энергично собирал материал, ездил в Магнитогорск, и, кажется, не раз?

— Да, ездил и собирал. А вот теперь, видишь, дело повернулось так, что я никак не могу закончить.

Он говорил уверенным голосом, в котором по-прежнему скользило стремление подчеркнуть, что ничего

всегда давалась с трудом, и я не мог примириться с мыслью, что удачно начатый роман будет медленно остывать где-то среди других начатых и брошенных рукописей.

— Может быть, ты все-таки попробовал бы пойти за своими героями — такими, какими ты их теперь узнал. Если ты не уверен в себе, они сами приведут тебя туда, куда нужно. Если ты будешь продолжать работу, книга начнет складываться почти независимо от твоей воли, только не бросай ее! Ты знаешь, книги — как женщины. Они не любят, когда их бросают.

Он снова засмеялся, на этот раз невесело. Уж не знаю, о чем он подумал, о книгах или о женщинах.

— Нет, ничего не выйдет. Ведь я всегда стараюсь высказать только одну мысль, но зато до конца. Так я писал «Разгром» и «Последний из удаче», «Молодую гвардию». И в этом новом романе тоже была одна мысль, которая казалась мне очень важной. Она-то и вела вперед книгу. А теперь я оглянулся и обнаружил, что позади-то ничего. Так что уж если писать эту вещь, так с самого начала, а для этого надо быть моложе лет, скажем, на двадцать.

Мы долго ходили по темным дорогам Переделкина, вдоль которых еще лежал по обочинам снег. Кто-то из писателей встретился нам на спуске,